Людмила

Улицкая

Девочки

Людмила Улицкая

Девочки (сборник)

«Издательство АСТ»

Улицкая Л. Е.

Девочки (сборник) / Л. Е. Улицкая — «Издательство АСТ»,

ISBN 978-5-271-38698-5

В сборник вошли циклы рассказов «Девочки» и «Детство-49». «В жизни человека есть периоды, когда он очень чувствителен. Прежде всего – время детства, когда всё укрупнено, усилено, имеет дополнительные краски, как будто существует еще один спектр цветов, звуков… Стереоскопическое зрение ребенка срабатывает и до сих пор: меня так и не отпускают мои детские воспоминания» (Людмила Улицкая).

ISBN 978-5-271-38698-5

© Улицкая Л. Е.
© Издательство АСТ

Содержание

Девочки 5
Дар нерукотворный 5
Чужие дети 14
Подкидыш 21
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Людмила Улицкая
Девочки (сборник)

Девочки

Дар нерукотворный

Во вторник, после второго урока, пять избранных девочек покинули третий класс «Б». Они уже с утра были как именинницы и одеты особо: не в коричневых форменных платьях с черными фартуками и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах «темный низ, белый верх», но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустяще-стеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой. Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но недостаточных девяти лет. Были в классе «Б» и другие девятилетние, которые и мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств.

Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять из «В» надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилю Жижморскую затошнило на нервной почве и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвести ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку – чем восстановилась парность колонны.

Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка Баренбойм, которая уже год ходила в Дом пионеров в кружок юного горниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, встали во главе колонны.

Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была парторгом, одной родительницы из родительского комитета с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском.

Старшая вожатая дала сигнал, тряхнув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени, барабанщик Костикова протрещала «старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал», Баренбойм надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелко-извилистому, но в целом прямому маршруту через Миуссы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный.

Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших и притом таких молодых.

– Сколько мальчишек, – неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Челышевой.

– Это не хулиганы, – проницательно заметила Маша.

Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородками треухах были мало похожи на хулиганов.

– А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена.

Тут их ввели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени.

Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы – всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по одной руке. По той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить который было некуда. У одной только толстухи Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный сверточек.

Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице наверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте.

Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесным образом не запятнанных сапогах – старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами.

– Алена, – в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Багатурия, – Алена! Я все забыла, мамой клянусь.

– Что? – удивилась хладнокровная Алена.

– Торжественное обещание, – прошептала Светлана. – Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей… а дальше забыла…

– …торжественно обещаю горячо любить свою Родину, – высокомерно продолжила Алена.

– Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила, Аленочка, – обрадовалась Светлана, – мне только показалось, что я забыла!

Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки.

Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буковки, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал сто девять шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины.

Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой – голубовато-белый. Серединка его была соткана из седеющих, пестровато-серых печальных волос.

– Наверное, она теперь лысая, – прошептала Преображенская.

– Это не имеет значения, узбечки все равно ходят в парандже, – пожала плечом жестокая Алена.

– Это до революции они так ходили, отсталые, – вмешалась Маша Челышева.

– Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать, – защитила почтенную старушку Преображенская.

– А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила? – с надеждой сказала добрая Багатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами.

– А-а, посмотрите! – вдруг ахнула Маша. – Видели?

Но смотреть было особенно не на что: на витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда.

– Ну, видели, – отозвалась Преображенская, – ничего особенного.

– Чего, чего? – забеспокоилась Алена.

– Читай, что написано! – Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. – «Портрет товарища Сталина вышила ногами безрукая девочка Т. Колыванова».

– Танька Колыванова! – в восхищении прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга.

– Да вы что, с ума сошли? Какая же Колыванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами! – отрезвила их Алена.

– Но здесь же написано Тэ Колыванова! – с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. – Может, у нее сестра есть безрукая?

– Нет, Лидка, ее сестра, в седьмом классе учится, есть у нее руки, – с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила: – Все же спросить надо.

И тут всё двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой – горнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное самая старшая, пионервожатая громко скомандовала:

– На знамя равняйсь! Смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских.

Все подровнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подожгла фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков.

Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за Родину.

Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», а все пионеры – участники слета весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили четыре, восемь и одиннадцать копеек.

А потом все хором прочитали торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионервожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньке, и она утешилась.

Запели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг.

На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс «Б» просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой переменке. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащий из-под воротничка впереди сидящей Алены Пшеничниковой, и Алена рыдала всю большую перемену, но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Челышева и сказала ей на ухо:

– А давай спросим у Колывановой, ну, про ту, безрукую?

Алена оживилась, и они подошли к Таньке Колывановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Тэ Колыванову.

Колыванова очень смутилась и сказала:

– Какая же она девочка, она большая…

– Твоя сестра?! – взвопили в один голос свежепринятые пионерки.

– Не сестра, так, родня нам, тетя Тома, – потупившись, ответила Колыванова, но видно было, что она мало гордится своей знаменитой теткой.

– Она ногами вышивает? – строго спросила Колыванову Алена.

– Да она все ногами делает, и ест, и пьет, и дерется, – честно сказала Колыванова, но тут прозвенел звонок, и они не договорили.

Весь четвертый урок Алена с Машей сидели как на иголках, посылали записки друг другу и другим членам пионерской организации, а когда урок кончился, они окружили Колыванову и стали ее допрашивать. Колыванова сразу призналась, что тетя Тома и впрямь вышивает ногами и действительно она вышила подарок товарищу Сталину, но это было давно. И что она никакой не герой войны, и руки ей не фашистские пули отстрелили, а что она так родилась, совсем без рук, и живет она в Марьиной Роще, и ехать туда надо трамваем.

– Ну хорошо, иди, – отпустила Алена Колыванову.

Колыванова с радостью тут же улизнула, а пионерская организация в полном составе осталась на свое первое собрание.

Главный вопрос был ясен и сам собой как-то решен: выборы председателя совета отряда. Соня с наслаждением написала на тетрадном листе: «Протокол». Проголосовали. «Все – за», – написала Соня, а ниже приписала: «Алена Пшеничникова».

И Алена, молниеносно облеченная полнотой власти, тут же взяла быка за рога:

– Я думаю, мы должны пригласить на сбор отряда безрукую девочку, ну, эту тетеньку, Тамару Колыванову, пусть она нам расскажет, как она вышивала подарок товарищу Сталину.

– А мне больше понравился… там стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на столике самовар и чашечки, а самовар с краником, и все маленькое-маленькое, малюсенькое… – мечтательно сказала Светлана Багатурия.

– Ты не понимаешь, – печально сказала Алена, – столик, самоварчик – это каждый может сделать. А ты вот ногами, ногами…

Светлане стало стыдно. Действительно, она обольстилась самоварчиком, когда рядом живут герои. Она свела свои раскидистые брови и покраснела. Вообще-то в классе ее уважали: она была отличница, она была приблизительно грузинка, жила в общежитии Высшей партийной школы, где учился ее отец, а Светланой ее назвали не просто так, а в честь дочки товарища Сталина.

– Значит, – подвела итог Алена, – дадим Колывановой пионерское поручение, пусть приведет свою тетю Тамару к нам на сбор.

Соня пошарила пухлой ручкой в портфеле и вытянула оттуда яблоко. Откусила и отдала Маше. Маша тоже откусила. Яблоко было невкусное. Смутное недовольство было на душе у Маши. Хотя красный галстук так ярко и свежо свешивал свои длинные уголки на грудь, чего-то не хватало. Чего?

– Может, моего дедушку позвать на сбор? – скромно предложила она. Дедушка ее был настоящий адмирал, и все это знали.

– Отлично, Маша! – обрадовалась Алена. – А ты пиши, Сонь: адмирала Челышева тоже пригласить на сбор отряда.

Словечко это «тоже» показалось Маше обидным. Тут открылась дверь, пришли дежурные с тряпкой и щеткой, и заседание решили считать закрытым.

Кроткая Колыванова уперлась как коза. Нет и нет – и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою безрукую тетю на сбор отряда. И упорствовала она до тех пор, пока Сонька не сказала ей:

– Тань, а ты Лидке своей скажи, пусть она попросит тетю.

Танька страшно удивилась: откуда Сонька Преображенская могла знать, что Лидка вечно таскается к тетке? Но поговорить с Лидкой согласилась.

Лидка долго не могла взять в толк, чего это понадобилось третьеклашкам от калеки-тетки, а когда сообразила, захохотала:

– Ой, умру!

В следующее воскресенье она взяла с собой пятилетнего братишку Кольку и поехала к тетке в Марьину Рощу.

Все колывановское семейство жило кое-как, по баракам и общежитиям, одна только Томка жила как человек, имела комнату в кирпичном доме с водопроводом.

Когда к ней пришла Лидка-племянница, она обрадовалась: Лидка попусту к ней не ходила. Как придет, то и постирает, и еду сварит. Хотя ходила она и не совсем за так: Томка ей всегда подбрасывала то трешничек, то пятерочку. Деньги у нее водились, особенно летом.

Разница в годах у тетки и племянницы была не так велика, не более десяти лет, и отношения были у них скорее приятельские.

– Томка, тебя пионерки хотят на сбор позвать, из Танькиного класса, – сообщила ей Лида.

– На что это мне? Еще ходить куда-то. Надо им, сами придут. Да и на что им нужно-то? – удивилась Томка.

– Да хотят, чтобы ты им рассказала, как ты подушечку-то вышивала… – объяснила Лида.

– Ишь, хитрые какие, расскажи да покажи… Пусть приходят, я им и не такое покажу. – Она сидела на тюфяке, почесывая коленом нос. – Только не за так. Бутылочку красного принесут – и покажу, и расскажу.

– Да ты что, Том, откуда у них? – Лидка уже раздела Кольку и копошилась в углу, разбирая грязные тряпки.

– Тогда пусть хоть десяточку принесут. Нет, пятнадцать рублей! Нам, Лид, пригодится! – и она засмеялась, показывая мелкие белые зубы.

Личико у нее было миловидное, курносенькое, только подбородок длинноват, а волосы густые, тяжелые, в крупную волну, как будто от другой женщины.

– Ох и дуры, чего не видели, – крутила она головой, но была в ней гордость, что целая делегация направляется к ней посмотреть, как она ногами управляется. Была у нее такая слабость – хвастлива. Любила людей удивлять. Летом сидела она на своем подоконнике на первом этаже, лицом на улицу, и, зажав иголку между большим пальцем и вторым, вышивала. А народ, проходивший мимо, дивился. А кто подобрее, тот клал на белое блюдечко и денежку.

Томка кивала и говорила:

– Спасибочки, тетенька.

Обычно давали тетеньки.

– А ты, Лидух, сама-то придешь? Ты приходи за компанию, – пригласила она родственницу.

– Приду, – пообещала Лидка.

Решили идти к Колывановой Тамаре на дом. Девять рублей было у Маши, остальные скопили за два дня на завтраках. Почти целую неделю пионерки ходили надутые тайным заговором, как воздушные шарики легким паром. Почему-то они были совершенно уверены, что не состоящая во Всесоюзной пионерской организации имени Ленина молодежь ничего не должна знать об их серьезной и таинственной жизни.

Гайка Оганесян от любопытства едва не заболела, а Лиля Жижморская была мрачнее тучи, потому что была уверена, что затевается что-то лично против нее.

Тане Колывановой было строго-настрого сказано, что, если она проболтается, ее будут судить. Насчет суда придумала, между прочим, не строгая Алена, а болтушка Сонька Преображенская. Маша, в значительной степени финансировавшая все мероприятие и укрепившая тем самым свои было пошатнувшиеся позиции, приободрилась.

Поход, назначенный на среду, через неделю после торжественного приема, едва не сорвался. Во вторник в класс пришла старшая пионервожатая и сказала, чтобы они не беспокоились: им назначили очень хорошую классную вожатую из шестого «А», Лизу Цыпкину, но она болеет и придет к ним сразу, как только выздоровеет, может, завтра, и сразу поможет наладить им пионерскую работу.

– Так что вы не раскисайте пока, – посоветовала она.

– Мы и не раскисаем, мы уже председателя выбрали, – бодро сообщила Светлана Багатурия.

– Ну и молодцы, – похвалила их Нина Хохлова, сделала пометку в книжечке и ушла.

Девочки переглянулись и без слов поняли друг друга: никакая вожатая Цыпкина им не нужна.

Утром следующего дня они предупредили дома, что вовремя из школы не придут по причине пионерского мероприятия. Все переменки они прятались в уборной на случай, если вдруг Лиза Цыпкина выздоровела и захочет с сегодняшнего дня ими руководить.

После занятия в полном пионерском составе, да еще прихватив с собой беспартийную Колыванову, они скрылись позади школы за угольным сараем в ожидании Лиды, у которой было пять уроков.

Дождавшись Лиду, они пошли кучей на трамвайную остановку. Маша Челышева зорко поглядывала по сторонам: казалось, что за ними кто-то следит.

За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок. Но замерзнуть они не успели, нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках.

Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Багатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в Пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной самостоятельности.

Марьина Роща оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками и густо опутанным толстыми веревками с фанерно качающимся бельем.

Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, и ей захотелось домой, в нарядный дом в Оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах…

– Выходить, – сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и, делать нечего, все попрыгали с высокой подножки.

Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома, остальное жилье было деревянным, рассыпающимся, в глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой.

– А нам сюда, – с некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом.

Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно.

– Туда, туда, – указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом.

– Вот, – сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа.

Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан, на нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены.

– Ай! – сказала Светлана Багатурия.

– Ой! – сказала Соня Преображенская.

Остальные молчали. А безрукая женщина сказала:

– Ну, заходите, коли пришли. Чего в дверях топчетесь?

Алена же, вместо того чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько:

– Здравствуйте, тетя Тома.

И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни.

– Иди, Лидка, чайку поставь, – приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила: – Кран у нас прям на кухне, на колонку не ходим.

– У нас тоже раньше колонка была, – со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана.

– А ты откудова, черная? Армян, цыган? – добродушно спросила безрукая.

– Грузинка она, – со значением ответила Алена.

– Дело другое, – одобрила Тома. – Ну, чего, – рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному и интересному, ради чего они пришли, – к подарку. – А гостинец мне принесли? Давайте сюда, – и она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье.

Испытывая жгучее чувство неправильности жизни, Алена расстегнула замок портфеля, вытащила кучу мятых рублевок и сунула их в шейный мешочек, покраснев так, что даже пот на носу выступил.

– Вот, – бормотнула она. – Пожалуйста, спасибо.

– А вы глядите, глядите, раз пришли, – мотнула Томка подбородком в сторону стены. На стене висели вышивки и картинки. На картинках были нарисованы кошки, собаки и петухи.

– А картинки тоже вы? – изумленно спросила Маша.

Тома кивнула.

– Ногами? – глупо поинтересовалась Багатурия.

– А как захочу, – засмеялась Томка, показывая сквозь мелкие зубы длинный, острый на кончике язык. – Захочу – ногами, захочу – ртом.

Она нагнула голову низко к столу, резко мотнула подбородком и подняла лицо от стола. В середине ее улыбающегося рта торчала кисточка. Она быстро перекатила ее во рту из угла в угол, потом села на кровать, подняла, странно вывернув коленный сустав, стопу, и кисточка оказалась зажатой между пальцев ног.

– Могу правой, могу левой, мне все равно. – И она ловко переложила кисточку из одной ноги в другую, высунула язык и совершила им какое-то замысловатое гимнастическое движение.

Девочки переглянулись.

– А вот портрет товарища Сталина вы тоже нарисовать ногой можете? – все пыталась Алена свернуть в нужном направлении.

– Могу, конечно. Но мне больше нравится кошек да петухов рисовать, – увильнула Томка.

– О, кошечка вон та серая прелесть какая, точно как наша, – восхищенно указала Светлана Багатурия на портрет кошки в неправильно-горизонтальную полоску. – Наша Маркиза у бабушки в Сухуми осталась. Я так скучаю без нее!

– А мне петухи… вон тот, пестрый, – сказала младшая Колыванова, от которой никто не ожидал.

– Ишь ты, а раньше не говорила, Танька, – удивилась художница.

– А вы расскажите про подарок, – гребла целеустремленно в свою сторону Алена Пшеничникова.

– Дался тебе этот подарок, – почти рассердилась вдруг Томка.

Но тут вошла Лидка и объявила:

– Том, керосин-то выгорел, нету керосина.

– А и нету, и не надо, – махнула кисточкой, зажатой в пальцах ног, Томка. – Поди-ка сюда. Поближе.

И Томка зашептала что-то секретное Лидке в ухо. Лидка кивнула, сняла с Томкиной шеи мешочек и пошла к двери одеваться.

Усевшись поудобнее, вроде как бы по-турецки, пошевеливая кисточкой, Томка стала рассказывать:

– Значит, так. Про подарок… – Она засмеялась рассыпчатым ехидным смехом. – Труд мой был не напрасный. Вышивала я долго, месяца два, а может, четыре. Василиска-соседка по почте отправила, а я ей наказала, чтоб с возвратным ответом. – И она снова засмеялась, а потом посерьезнела. – Но, честно сказать, не очень-то я рассчитывала, что ответ получу… Но пришел. Бумага большая, печать сверху, печать снизу, благодарственная, из самой канцелярии. Так и написано: Москва, Кремль… Ну, думаю, дорогой товарищ Сталин, не подведи…

Девочки переглянулись. Алена тревожным взглядом смотрела на Машу.

– А жили мы в Нахаловских бараках. Одна стена – чистый лед, а протопят как следует – вода течет, и нас шестеро вот в такой каморе. Мать наша – деревня деревней, сестра Маруся – пьянь, рвань, в жопе ветер, да выблядки ее сопливые… – Томка строго посмотрела на обмерших чистеньких девочек. – Ума ни у кого нет, об себе позаботиться не могут, не то что обо мне, безрученькой. А кому Бог ума не дал, то плохо, я скажу. Ну, я эту бумагу в зубы и иду в жилотдел…

Светлана Багатурия подперла кулачком подбородок и даже рот открыла от проникновения. Сонька хлопала глазами, а Маша Челышева тяжко, со стеснением втягивала в себя дурной воздух и с еще большим стеснением выдыхала.

– Прихожу, а там в кабинет очередь, а я без ничего, дверь ногой открываю и захожу. Они меня увидели, попадали прям. – Она тщеславно хихикнула. – А я на самый большой стол им, – с неприличным звуком она выплюнула изо рта воздух, – бумагу выкладываю и говорю: вот, обратите внимание, великий товарищ Сталин, всем народам отец, знает меня поименно, пишет мне, убогой, свое благодарствие за мое ножное усердие, а моя жилплощадь такая, что горшок поставить поссать некуда. Где же ваше-то усердие, уж который раз мы все просим, просим… Теперь я к самому товарищу Сталину жаловаться пойду… Ну, поняли теперь, пионерия? Фатера-то моя, можно сказать, лично от самого товарища Сталина!

Она покрутила ртом и дернула носом:

– Ничего вы не понимаете, мокрописки. Надевайте ваши польты и дуйте отсюдова, – неожиданно злобно сказала она. Потом слезла со своего тюфяка и запела тонким громким голосом, подстукивая голыми пятками и подергивая боками: – Огур-чи-ки, по-ми-дорчики…

Девочки попятились к двери, схватили свои шубки-пальтишки в охапку и высыпались в коридор. Из-за двери был слышен крик Томки:

– Танька! Танька! Ты-то куда?

Но Таня Колыванова солидарно натягивала свое пальто. Толкаясь, они пробежали по изогнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в парадную дверь, на улицу.

Было уже совсем темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в небесной черноте. Они побежали к трамвайной остановке и сбились в кучу возле жестяной таблички. Соньке и Светлане было ничего себе, Маша тяжело дышала, у нее начинался первый в ее жизни астматический приступ, которых будет потом много, а Алена роняла частые слезы с густых слипшихся ресниц.

Она была так несчастна, как только можно вообразить, но сама не понимала отчего.

«Противная, противная, обманщица, – думала она. – И товарища Сталина она не любит…»

– Дома влетит, – сказала бесчувственная Сонька, которой все было хоть бы что.

Две женщины в деревенских полушубках подошли к остановке и встали. Ждать пришлось на этот раз довольно долго. Наконец вдали раздался чудесный перезвон и из-за поворота появился ясноглазый трамвай. Когда они уже влезали в него, появилась Лидка. Томкино поручение она уже выполнила и неслась вслед за сестрой.

А Томка, с бутылкой в своей шейной котомке, не надевая чунек, поднялась во второй этаж и постучала голой пяткой в коричневую дверь. Ей не ответили. Тогда она развернулась, отступила на шаг, ловко просунула ступню в дверную ручку и, качнувшись, открыла дверь. Внутри было темно, но это было ей не важно.

– Егорыч! – позвала она с порога, но никто не ответил. Она двинулась в глубь комнаты. В углу лежал матрас, а на матрасе – Егорыч. Она встала на колени: – Егорыч, ты потрогай, чего я принесла-то. Доставай, что ли… Ну, давай! – торопила она его.

И Егорыч, почти еще не проснувшись, поднял патлатую голову с большой сальной подушки, протянул корявую лапу к Томкиной котомочке и добродушным сонным голосом сказал:

– Тебе только давай… Ну, чего притащила-то?

Он был ее дружок, и она принесла ему дар. Сама-то она выпить немножечко тоже могла, но по-настоящему пить она не любила. И товарища Сталина, как выяснила теперь заплаканная Алена Пшеничникова, она тоже по-настоящему не любила…

Чужие дети

Факты были таковы: первой родилась Гаяне, не причинив матери страданий сверх обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые столь сладостно и легко, а выходить – тяжело и болезненно. Столь бурное появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для опытной акушерки Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаяне мирно спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из одной бездны в другую.

Невзирая на суматоху, поднявшуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы однояйцовые, и это не очень хорошо – она держалась того мнения, что однояйцовые близнецы физически слабее разнояйцовых, – а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая двадцать второго августа, а вторая – через пятнадцать минут, но уже после полуночи, двадцать третьего…

Пока мать девочек Маргарита, не унизившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспамятства, то снова увлекаемая в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.

К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула, вопреки прогнозам врачей, из межуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой.

К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме, чтобы иметь возможность сбегать среди дня к детям и покормить их.

Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем еще безымянная, тоже заплакала – зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внучкам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опревшие складочки.

Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория – она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», – яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «арачин» – «первая», голоса вообще не подавала.

Лежа валетом в кроватке-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отрыгивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворенным кряхтением желтые творожистые останки трудно добываемого молока.

Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, по мнению Эммы Ашотовны, старшая была потоньше и помиловидней.

Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотовна девочек не показывала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако, пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотовна, причудливо сцепив пальцы, мелко поплевывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.

Была Эмма Ашотовна человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так, с помощью этой своеобразной игры, решала она обыкновенно свои житейские задачки.

Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами, послушно позвякивающими в ее крупной голове под большими волосами, не могла она к ней подступиться.

Эти детки были долгожданными. Дочь ее Маргарита в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей – профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, – скорее вопреки их ожиданиям… Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.

К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям – подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.

В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада, сквозь просветы крупных листьев инжира, и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.

До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначалу столь ярким, что затмило для него все кальки и синьки мира…

Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бесплодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, угрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.

Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич.

Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал профессор в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск спасенного от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.

Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он, без предварительного извещения, явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.

Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию – на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, – и теперь наконец ехал на фронт.

В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.

Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, грохочущее железом пространство.

За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.

К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две – не провидела.

Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!

И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чревато суеверное умолчание.

Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отправила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странного содержания:

«Примите поздравления новорожденными. Серго».

Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.

Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившиеся плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызывали теперь чувство страха. Она боялась взять их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременным появлением двух враждебных существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.

Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.

А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал на ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.

Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.

Все, все, все они… И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то садистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Би-ля-ди» – было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.

Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритиного одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.

Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе – обнимающим Маргариту. Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с немыслимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза.

Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне, как сухая травинка.

Тогда он и отправил домой три дня обдумываемую телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.

В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть рогоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесяна и хоть пенсию на него получают. Все лучше, чем безотцовщина.

Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, а ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих…

Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синеют по мере удаления, и нащупывала одновременно ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.

Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.

Со временем она перестроилась: не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. По шевелению

губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом. Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно взывая к жестокосердному мужу.

Уложенные валетом, толсто запеленутые, перегретые, как пирожки в духовке – Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, – девочки довольно долго спали в одной кроватке. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще Феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом:

– Агу, агу, агушеньки…

Потом внесли вторую кроватку, и они росли, смотрелись друг в друга, как в зеркало, быстро перенимая все навыки одна от другой, вечно обезьянничая. С нежностью и почти научным интересом Эмма Ашотовна отмечала в них все черты сходства, все штрихи различий: младшая вроде бы ударяется в леворукость, и кожа у нее чуть смуглей, гуще и темней волосы, крупнее кисти рук. Левая ягодица младшей была отмечена родинкой в форме перевернутой трехзубой короны. У Гаяне тоже была родинка, но на правой ягодице, и форма ее была как-то размыта. Зато зубы начинали прорезаться у них всегда в один и тот же день, и с удовольствием ели они одну и ту же пищу, и всегда дружно отказывались от моркови, в каком бы виде она ни попадала на их стол.

В свой срок они начали садиться, вставать на ножки, совершать первые шаги и первые нападения друг на друга.

Переписка их родителей закончилась тем последним письмом Серго. Далее она развивалась исключительно между Серго и тещей. Эмма Ашотовна, так жестоко ожегшаяся своей привычкой руководить, входя во все детали, жизнью дочери, делала теперь вид, что ничего не произошло, давала зятю точные отчеты о детях и заканчивала свое письмо дежурной фразой: «Состояние Маргариты все то же».

Серго отвечал кратко и официально, имени Маргариты никогда не упоминая, тещу же, несмотря на полное внешнее почтение, он и раньше почитал старой ведьмой.

Пережив адскую полосу ревности, он крепко решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни. Но оказалось, что он и себя как будто вычеркнул из списка живых. Вероятно, тем самым и обманул смерть. Она его не замечала. Участник всех больших танковых сражений войны, от Курского до боя на Зеленовских высотах, он ставил на ход подбитые танки, не раз выводил из окружения отремонтированные им машины – однажды в отступлении он остался чинить подбитый танк в жидком скверике отданного города и вывел его ночью, когда город был полон немцами.

Много раз он просил перевести его в боевой расчет, поближе к смерти. Все напрасно. И ветерок пули не пролетел мимо его широкого низкого лба.

– Заговорен, – говорил его друг Филиппов…

Кончилась война. Была объявлена победа. И этот день был для Эммы Ашотовны днем горестных воспоминаний о том несчастнейшем из дней, когда рухнул на пол муж – и уж больше не встал, и о последнем приезде Серго и всей той ужасной нелепости, которую он натворил после рождения детей.

Эмма Ашотовна сообщила Маргарите о конце войны. Она слабо кивнула головой:

– Да, да…

– Теперь Серго вернется, – неуверенно сказала Эмма Ашотовна.

– Да, да, – безразлично проговорила Маргарита, увлеченная, как всегда, непрерывным разговором с отсутствующим мужем.

…Была середина июля, раннее утро. Он приехал в Москву ночью и несколько часов провел перед домом, где прошли самые счастливые годы его жизни. Он не мог решить, войти ли в этот дом или сразу ехать дальше, в Ереван, к братьям, сестрам, народившимся новым племянникам. В болезнь Маргариты он никогда не верил и смертельно боялся, что на его звонок ему откроет дверь скрипач Миша, и тогда он убьет этого недоноска, убьет к чертям собачьим, просто задушит руками.

Серго хрупал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.

В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.

Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен – как если бы это был запах родного тела. Поднялся на второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон, и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом из отсеков. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкой рельсе – изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.

Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кроватке, уголок пододеяльника, вторая стояла в кроватке и возила по ее бортику плюшевого зайца. Виктория выплюнула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаяне отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.

– Дядька плохой! – объявила она. – Уходи!

Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:

– Сережа, они привыкнут, привыкнут… Испугались… Мужчин никогда не видели…

А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это… Бледненькая Маргарита, похожая на газель еще больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.

– Марго, – позвал он тихо. – Это я.

Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:

– Хорошо. – И отвернулась.

– Больная. Совсем больная, – поверил он наконец… Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые еще несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.

Эмма Ашотовна металась между орущими внучками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:

– Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с ее уст, днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они, две свечечки, были за тебя…

Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и «билядь», хотя и больная. Дети – чужие. Но чугунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.

А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь

черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти…

Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи.

«Господи, сделай так! Господи, сделай!» – отчаянно кричала ее душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:

– Твой дом ждал тебя, Серго… Вот чашка твоя, смотри… Маргарита не велела трогать… Книги твои и тетради старые стоят как стояли… Дождались мы, дождались тебя… Только Александра Арамовича нет с нами… Дети твои дождались тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет…

Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие, тяжелые небеса трескались, двигались, опадали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу – как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, – и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали. Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.

Он оторвал ладони ото лба, встал монументально – он был крупный человек – и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:

– Мама, почему дети плачут? Идите к ним!

К вечеру у Эммы Ашотовны страшно разболелись пальцы левой руки, три средних, исключая мизинец и большой. Всю ночь рука горела, к утру пальцы распухли и поднялась температура. Несколько дней она страшно мучилась. В дни болезни – к слову сказать, первой болезни с довоенного времени – она едва только могла помочь Маргарите, а Серго возился с девочками, которые не только быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его внимание. Он кормил их, переодевал, сажал на горшок. Душа его стонала от счастья при каждом прикосновении к этим смуглым чудесным щечкам, чуть влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам.

Эмме Ашотовне поставили диагноз – множественный панариций. Сама-то она знала, что через эти нарывы уходило из нее то зло, которое накопила она на своего дурака зятя. Однако, когда нарывы созрели, их вскрыли и все быстро зажило, она еще недели две не снимала повязки с пальцев – для укрепления любви между Серго и девочками.

Вынимая их по вечерам из большого жестяного таза, касаясь их телец через махровое полотенце, он испытывал острое наслаждение. Он не обращал внимания на чайного цвета родинки, украшавшие детские ягодицы. И единственным человеком, который мог бы ткнуть его в плоский зад в самую середину родинки в виде перевернутой короны, была его бедная жена Маргарита, которая все сидела в своем кресле и разговаривала с мужем, которого она так любила.

Подкидыш

Теперешняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают: сыновья Ревекки, как говорит Книга Бытия, еще в материнской утробе стали биться.

Никто и никогда не узнает, в какой именно момент – пренатальной или постнатальной жизни – Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаяне.

Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но проницательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и по благородной склонности натуры всегда прикрывала своим распушенным крылом ту, у которой и ножки, и румянец были потоньше. Что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки.

Отец млел от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душные объятия рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаяне, и готов был мычать теленочком, блеять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя.

Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от притеснений Гаяне, и в присутствии отца задирать сестру она перестала.

Справедливости ради надо отметить, что самым грозным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаяне уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся, для экономии жилого места, по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней одноколейки и часами, в вокзальном ожидании, высиживала себе прощение.

Мать не вмешивалась в отношения девочек и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества – сидела в узенькой комнате, в высоком кресле, с большой, отливающей серебром корзиной из кос, которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «Доброе утро, мамочка» и «Спокойной ночи, мамочка», а она слабо улыбалась им вырезной губой.

Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка, но, когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши.

Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой: она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаяне посильно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие, на первый взгляд незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом, по случаю простуды девочек, был приглашен старый доктор Юлий Соломонович, из породы врачей, вымерших приблизительно в те же времена, что и стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусство, иногда и для них самих неведомо, замешена капля древнего колдовства.

Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как это ни странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда был он очень старым доктором.

Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как тридцать лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайничка и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом

Эмма Ашотовна внесла тазик, кувшин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как будто перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз.

Широким и роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправа его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно не существующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, давно уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем.

– Так как же зовут наших барышень? – вежливо спросил он, склонившись над ними.

Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась.

– Гаяне, – ответила робкая Гаяне, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку.

– Гаяне, Гаяне, прекрасно, – восхитился доктор. – А вас, милая барышня? – обратился он к Виктории.

Виктория подумала. О чем – сам Фрейд не догадается. И ответила коварно:

– Гаяне.

Истинная Гаяне оскорбленно и тихо заплакала:

– Я, я Гаяне…

Доктор в задумчивости почесывал глянцевый подбородок. Он-то знал, как сложно устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления.

Виктория глядела победоносно: не мишку плюшевого, не зайчика тряпичного – ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу.

– Так, так, так, – протикал доктор медленно. – Гаяне… прекрасно… – Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице: – А где же Виктория? Виктории нет?

Виктория засопела заложенным носом: ей хотелось быть одновременно и Викторией, и Гаяне, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно.

– Я Виктория, – вздохнула она наконец, и Гаяне тут же утешилась.

И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прощупаны по всем лимфатическим железам улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком.

Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, ошибочно отнеся ее за счет неземного обаяния внучек. Она ошибалась: он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке.

Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость: она до умопомрачения любила завязывать знакомства. Хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы, она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в наследство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и Феню вырастившей под крылом добрых хозяев. А может, тень Иогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в голубиных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомства нянек и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла Эмме Ашотовне о своих успехах:

– Сегодня с новыми детями гуляли, с адмираловыми!

Или:

– Двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеровы, – сваливала она невзначай в одну кучу происхождение, фамилию и склонности характера.

Но при этом – чего Феня не знала – каждое новое знакомство с детьми сопровождалось неизменной маленькой сценкой: Виктория называла себя именем сестры, а Гаяне, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называла именем Гаяне.

Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских у нее были и другие крупные задачи: не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу, смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера.

В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевранных сказок и самодельных историй, Гаяне же была наблюдательной молчальницей, памятливой на чужие бантики, брошки, незначительные события и оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до десяти было устроение «секретиков» – уложенных под осколком стекла листьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги. Даже летом, на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гаяне предпочитала именно это единоличное и сидячее развлечение, в то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях и играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми из соседних дач.

Здесь же, на кратовской даче, в последнее предшкольное лето Гаяне подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином и местные старухи продавали тугие пучки белоносой редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, а потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошадью, классически хромой цыган в огромном пиджаке, забитом орденскими колодками чуть не до пояса.

Никаких ковровых кибиток и шелковых рубах не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин неопределенного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке – на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку.

– Они детей крадут, – шепнула Виктория сестре, и, пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение: – В нашем поселке уже двоих украли!

Цыганки меж тем занимались своим обычным ремеслом: останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль.

Бизнес их шел ни шатко ни валко, и к полудню они предприняли вылазку – пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у Карасиков, выходящем прямо на перекресток, и через редкий забор отлично было видно, как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гаяне подходить боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь.

В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадью, пасущейся вдоль улицы на случайной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала:

– Ой, что вижу, что вижу… Ой, смотри, беда идет… Дай руку, посмотрю…

Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула:

– Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая…

Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гаяне крепко схватилась за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.